



ПОТЕРЯННЫЕ ГОДЫ

ДЕНИС СЧЕТКОВ

Денис Снетков

Потерянные годы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74688174

SelfPub; 2026

Аннотация

В основу остросюжетного мистического детектива положены размышления автора о том, какова могла быть судьба семьи последнего российского императора Николая 2, если бы не случился известный расстрел, какой удел постиг бы Якова Юровского, его дочь и супругу в случае отказа Юровского сыграть роль цареубийцы.

Автор пытается понять потенциальное движение жизни императорской семьи, Якова Юровского, отличное от биографической правды. При этом исторические данные полностью соответствуют известной нам реальности.

Произведение носит новаторский характер. На свете нет других книг, которые повествовали бы о том, почему Яков Юровский мог бы не совершить убийство семьи Николая Романова, и раскрывали бы дальнейшие возможные пути выживших героев, а также сочетали бы в себе историзм и прелестную выдумку.

Роман будет интересен читателям, которые ценят полет фантазии, игру ума, взлеты стиля, сложное, продуманное

сплетение исторических фактов и вымысла, вдохновенную и самобытную манеру письма.

Содержание

Предисловие	5
Часть 1. Две буквы «в» и одно предчувствие.	9
Время и вечность	
Глава 1	9
Глава 2	17
Глава 3	26
Глава 4	27
Глава 5	34
Глава 6	41
Часть 2. Только одна «в». Вечность	42
Глава 1	42
Глава 2	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Денис Снетков

Потерянные годы

Посвящается моей семье

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.

Апостол Павел, 55 год нашей эры.

Те, кто ясно видят, слепы, ибо там, где ты встретишься со светом, будет твоя тень. Проходи между тенями и светом, и впитывай мудрость обоих.

Пророчица Яэль, 1 век до нашей эры.

Предисловие

«Что, если бы?..» – такой вопрос задает себе каждый из нас в отношении как собственных событий, так и относительно известных исторических инцидентов.

Автор книги задается темой: «Что стало бы с семьей последнего российского императора Николая II, если бы не случился его рвотный расстрел, а также с Яковом Юровским, кто по каким-то причинам не совершил признанное

всеми убийство?»

Писатель пытается понять потенциальное движение жизни императорской семьи, Якова Юровского и его родных, отличное от воздавшей возмездие истории.

В признанном пространстве мы узнаем страдальцев Романовых, цареубийцу Юровского, умирающего 1938 году от язвы желудка спустя двадцать лет после того, как он прикончил свою жертву, а впоследствии наблюдаем дочь Якова, Римму, заключенную в концлагерь по обвинению той властью, которой она служила с молодых лет, и ее трагически погибших детей, внуков Юровского. Однако автор романа не собирается погружаться в мистические мысли о том, почему судьба совершила такой мстительный ход.

Кроме того, сочинитель не собирает в этом произведении исторические рассуждения о невозможном восстановлении монархии, а также о том, были ли дотоле известные герои, которые выдавали себя за последних Романовых после июльского события 1918 года, подлинными личностями или самозванцами.

Сотворивший книгу говорит о другом.

Чтобы не сойти с ума в переливающейся ткани бытия, похожей на потрясающие импровизации гениального безумца, настолько ослепляющие и лучистые, что размывается все изображение вселенной, физики давно ищут одну ясную и доходчивую «теорию всего».

Однако мы всего лишь квантовые частицы в муаровом

мире, которые куда-то несутся без определенных характеристик, пока энергичный экспериментатор, спасительно надев острые очки, не определит конкретные скорость и положение пылинок нашей сущности, а затем сравнит полученные показания с прежними данными.

Точно так же и это произведение, законченное в середине сентября 2026 года, захватывает в собственное единство промелькнувшие потрясающие дни и настойчивые наступающие мгновения, как говорит один из героев произведения.

В пестром неопределенном волнении до конца непознанной вселенной нам остается периодически проводить новые тесты для понимания того, в какой форме, по утверждению спортсменов, мы все существуем.

Для этого писатель предлагает поставить пробу, как вышеупомянутый наблюдатель физических явлений, после которой можно отыскать новые отправные пункты для движения к многогранной истине. Быть может, тогда мы сможем воедино сложить все версии в полностью сплетенную корзину разума.

Как молвит другой герой книги, «быть может, нет точной общей дорожки для всех, ибо, когда идешь гуськом, путь заоблачно неясен и хаотичен: из-за спин не видно направления, бросает то в лабиринтный лесок, то в баюкающее болото. Оттого нам важно быть рядом с теми, кого мы любим и кто любит нас, ибо только любимые близко к тебе, и жмутся рядом, а не друг за другом, и – в контраст далекому – могут

стать той твердыней, что бесконечно поддерживает и окрыляет в одиночном пути».

В этом ключе важно, что повествование специально не заканчивается полным десятком страниц. Невзирая на круглую композицию, текст устремляется в разветвлённую бесконечность, наполненную нежной любовью к сумбурному миру, любовью, данной нам разными, земными и нездешними творцами, любовью, то ли рассекающей, то ли соединяющей две половинки существования, как молния в рисунках героини романа.

К сведению читателей: дом Шаравьева, который упоминается в романе, является в будущем домом Ипатьева, где произошёл расстрел императорской семьи.

Даты в романе, как и герои книги, где-то совпадают с понятными историческими формами, но в основном — и это главное — по-своему реальны, поскольку существуют во внутренней логике художественной истины, кем-то написанной и когда-то сыгранной, произнесённой вовне и однажды вами услышанной, а значит, творящей бессмертие.

Николай Александров, историк, критик

Крым, 2026 год

Часть 1. Две буквы «в» и одно предчувствие. Время и вечность

Глава 1

14 ноября 1894 года король Ник Темно-Светлый встал со своей перины, которая уходила выше потолка в небесную высь, и, щегольски расправляя пышные густые усы с чуть приподнятыми концами, он вышел из светлой спальни. Шел первый год его мирного царствования.

Ник Темно-Светлый спустился со второго этажа – по двадцати трем гулким и стройно-светлым ступеням замка с вечно юным цок-цок, пружинистой походкой и с быстрой улыбкой на противоречивых губах – к своему завтраку, который включал жареного поросенка с рисом, наваристый густой картофельный суп, свежий омлет с петрушкой в сопровождении горячих блинчиков с сиропом и классического черного чая с мелкими дольками лимона.

За утренней трапезой короля восторженно встречали ликующие пышные подданные, и в синих туалетных комнатах был извечно радостный обряд, с любованием гимнастическим телом короля, лстивыми разговорами о его славной политике, но сегодня еще бурно обсуждали его первую брач-

ную ночь.

«И поданные обсуждали первую ночь в быстрой потаённой речи, и говорили, что молодожены точно встретятся в другом мире, потому что такое сильное чувство... – Историк Н. размашисто бросает слова в сторону писателя А., мелко нарезая томную буженину на садовом столе в восхитительно тёплый, морозящий осенний день. – Он женился, потому что...»

Да, король женился. Он знал цену долгих свадебных интриг. Его отец, победитель в триста одной войне и автор трехсот поражений, был женат столько же раз, сколько выиграл битв.

Боже, дай мне вспомнить все закулисные хитрости!

«Дружественный сговор с более могущественным государством, где папа Ника наконец-то нашел супругу, стал единственным для него спасением. – Н. бурно прожевал буженину. – Благо, что он был хорош собой: крепкое, богатырское сложение. А вот его сын пошел еще дальше: с годами развил в себе настоящего атлета. Даже дамы соседних королевств не стали ждать новых военных усад и все устремились к Нику на бал, который должен был состояться после царской охоты. К сожалению, принцесса А. была практически раздавлена его лошадью во время той самой погони за зайцем, настолько смышлёным, что заносчивый зверек завел Ника на неизвестную тропу, на которой прогуливалась А. К несчастью, она не слышала конного топота. А потом, когда

она очнулась, у нее болели грудь и спина, и сложился ревматизм в плечах и руках».

«Почему он женился на больной А.?» – Писатель А. непонимающе глядел в небо, изможденное резкой строгой сентябрьской молнией, и недоуменно наблюдал серую карандашную рябь дождевой мелочи. Вокруг него была местность двадцатого первого века с ее страстями и грехами, но Н. говорил о другом.

* * *

«Натаниэль!» – моя мама приглашает к обеду, пока я, протяжно исполнив известные гениальные гармонии, абсолютно верно и нескончаемо радостно подражаю пению птиц в нашем летнем сладком саду, и во время их трепетной трели мой голос абсолютно точно и совершенно четко звучит в унисон с быстрой капризной канарейкой или волнистым пронизательным попугаем, моими любимыми обитателями дома.

Моя мама была музыкально всеядна, а я, пока не зная всех имен и направлений, пронзительно правильно, но чересчур надменно напеваю все неброские мелодии, услышанные ранее в дивном течении мерно тающего дня.

И, выбегая в гостиную, я пятилетний накрываю поцелуями тапан, потрясаяще стройную невысокую женщину двадцати пяти лет с вечно прямой благородной осанкой, с неве-

сомой воздушной копной коротких прямых темно-русых волос, которые шапочно облегают височные доли и разделены прямым пробором над нежным высоким лбом, с легким дуговым, вниз опущенным завитком челки с правой стороны и чуть распушенными дымчато-тончайшими нитями, как будто небрежно летящими в иное измерение со стороны левого очертания головы.

Мамочка смотрит вбок на портреты моего умершего отца умными, глубоко карими, невероятно красивыми глазами, как бы одухотворённо отстранёнными в прошлое, пронзительно просветленными и потрясающе любимыми, и вместе мы выхватываем на папиных фотографиях его мягкий любознательный взгляд, пышную короткую прямоугольную бородку, которая гармонично входит в единое целое с тонким изгибом редких, где-то потускневших, а вот здесь (посмотри!) темных усов.

12 августа 1893 года, когда я был еще пяти лет от роду, случилось непредвиденное: в один мысленный миг я услышал все-все-все звуки мира.

Слух, дар человека по имени Натаниэль, развивается мгновенно, живо и проворно. Но, следуя в параллельном галопирующем ритме, нагло набирая обороты с течением времени, мои глаза напористо наполняются дремотной и тесной темнотой, виденной в иллюстрациях к детским сказкам.

Его глаза наполняются бескрайней бездной черноты, которую он наблюдает ночью с рождения в далеком отцовском

загородном поместье.

Его глаза наполняются. Беспросветной тьмой. Двуликого, слышного, но невидимого творенья.

Началось в четыре года, когда сиреневый сумрак, своевольно сгущаясь, сумасшедшими скачками стал переходить в пагубный полумрак. А к шести годам, в мглистые дни длинной осени, мертвый мрак окончательно загасил очевидные очертания его привычного мира.

Я ослеп. Все, что было рядом, стало только звуками, которыми я отныне окрест и навечно повязан.

Вот тот маленький игрушечный бледный конь с гигантской гривой оборачивается легким музыкальным прыжком до-мажора Моцарта, а вот те красные цветы в ароматном саду звучат явным пренебрежительным диссонансом. Мама превращается во влажный звук чуть шелестящего дождя (я помню быстрый лепет ее речи), а отец, которого я рано потерял и почти не помню его внешности, сохраняется в памяти своим высокочастотным вибрирующим голосом, который напоминает «мяу-мяу» соседского кота.

В густой среде звуковых образов лабиринтовым лейтмотивом ведет Натаниэля во сне один невероятный, непрекращающийся и ужасный крик.

Я явственно и чувственно чую его, этот стонущий страшный крик, в каждом, даже в легком и быстром сновидении, когда мгновенно пролетаю над мокрой вечной вершиной горы и внезапно одиноким краем глаза вижу несколько мощ-

ных воинов и вздернуто вздрагиваю от собственного взрывного вопля.

И, просыпаясь, мама, откуда появились во мне все звуки и земля стала словно одним музыкальным инструментом? Откуда слышится кошмарный крик, тот, единственный?

Теперь ты таинственно ткешь звуки мира, мой сын. А тот, иной, – своеволие сна.

* * *

Папа, почему мне снится все тот же сон? Откуда он всплывает, а затем идет, идет, идет?

«Римма!» – зовет меня отец, показывая жестом двух вытянутых вверх сухощавых рук худого сутулого человека, что испеклось свежее сказочное утро. Но я не могу прочно проснуться.

В беспокойной, влажной от пота дремоте я вижу себя летним теплым и приятным днем одиноко стоящей у двухэтажного каменного особняка. Дом расположен на спуске небольшой зеленой горки, а на возвышении, в плывущей яркой синеве, прозрачно качается колокольня белого храма.

В верхних окнах как будто обвислого особняка я смутно различаю тусклые тени нескольких фигур. Вдруг понимаю, что одна из них – это я сама, пытаюсь крепко ее схватить в яростной и пустой попытке вырвать ее из лап дома.

И так происходит каждое утро. И та, что зовется Риммой,

не может спасти странную безмолвную и текучую тень, которая угнетающе улетает. Когда я панически просыпаюсь, чувствую в своих онемевших робких руках только беззвучную пустоту, попутную с моим возвращением к отцу.

Я не слышу практически с рождения. Все, что было звуком, стало цветной формой.

Ее уши словно наполнены толщей морской воды, которую она видит на крымском горизонте с 18 июня 1901 года.

В ее уши наливается вода. В ее уши наливается. Бескрайняя бездна безмолвности. Двумя, зримого, но безгласного творенья.

Но в мертвом мире голосов она идет по тайной для других, но для нее одной понятной точной тропинке.

Мой папа владеет небольшой фотографической мастерской, и, помогая отцу в летние каникулы проявлять фотографии, я вдруг внятно и по-новому вижу миловидный мир, внезапно ставший магическим, мокро залитым золотистыми и пестрыми переливами.

И просветленное пространство вокруг меня четко чертят целебные цвета и колируют цветущие освежающие оттенки. И выразительная вселенная рельефно резвится бесшумно блестящей, цветной и тактильной тканью, которая закутывает тебя, трогательную Римму (о да, я согласна!), во вневременную удачливую целостность.

Все началось с утреннего бледно-синего неба. Гуляя на пару с южным ванильным ветром, она дрейфует по бланже-

вому берегу моря, и день крепчает, и толкаются локтями серебристые вздымающиеся волны в васильковой воде, и изгибисто молятся друг о друге непотаенные деревья в скользящей с левой стороны нарциссовой набережной.

Каждое утро, и в отдельные дни все быстрее и быстрее, я открываю новые ценные краски и свежие глубокие, мне одной известные обаятельные оттенки, которые я пытливо передаю своим первым памятным рисункам.

Вот там, на морском молу, плачет плотная девушка с огромными серо-голубыми глазами, в прелестном сиреновом платье и мирабелевой шляпке. А на фотографии, сделанной отцом, на диванчике покоятся двое: непосредственно отец и молодой господин, который поправляет свой гранатовый галстук и вращает на указательном пальце персиковый перстень.

Папа, что со мной? Откуда все цвета и те мерзкие жуткие тени?

Теперь ты загадочно знаешь все краски мира, которые так явно и веско не видит никто. А тени – представь себе, случаются сумасбродные сны.

Глава 2

В школе для слепых, куда привезли Натаниэля осенним вечером 1895 года под аккомпанемент вихреобразной листы, нашелся учитель музыки, высокого роста, сухопарый мужчина средних лет с легкими пушистыми русыми волосами, умными проницательными глазами с постоянным пытливым прищуром, который достался ему от отца, самого быстрого музыканта планеты, гордости столичных балов, умевшего, как и его отпрыск, проворно вбежать в огромный, блистающий свечами зал, а затем рьяно, резво, легко и стройно сыграть двумя руками семьсот семьдесят нот в минуту.

Я первый раз сию посередине классной комнаты на бархатном стуле за мажорным, как я ощущаю цвет, моим первым фортепиано. Стучу по клавишам ребром ладони, потому что не знаю, как играть, а там, куда не дотягиваюсь, использую локти.

Учитель крепко сжимает мою капризную кисть и ведет испуганные пальцы по первым нотам, выпуклым шеститочиям Брайля, бойким глубоким голосом повторяя доли и названия аккордов. И мне следует одной рукой слепо следить за нотами, а другой – вдумчиво, пока еще вяло выводить первые мелодии.

И отцветает, и грустнеет время, похожее на беспрерывно

падающий поток бешеных листьев за облачным окном, и уже пора – становится поздно, совсем, совсем поздно. Проснувшееся ночью небо точно колышется в глубоком припадке грома, и весомо расходятся вакханальные вспышки молний. Но два музыканта, уютно укутанные мягкой прохладой комнаты, не прерывают занятия.

И я спрашиваю себя: не грежу ли я или вправду наяву слышу филигранно четкий размеренный ритм, который сладко сопрягается с виртуозными поэтическими пассажами в впервые выученной мелодии?

Повторив этюд два раза, я поточно и очень пенно плачу.

Поймите! Мне хочется, чтобы музыка жила, а не умирала, как почему-то навсегда исчезают дни и люди.

– Будет новый день, Натаниэль, и снова придет музыка. – Утешающий учитель мягко гладит мои светло-каштановые волосы и с извечным прищуром смотрит в мои серо-голубые глаза.

И родится юное, но уверенное утро. И будет свежая, неизбывно слепая нагота неба. Настенные часы странно сломаны, но Натаниэль не обращает на них внимания, и снова встает, и идет, и углубляется в бесчисленные ноты, настойчиво требующие его к себе.

В такие моменты все остальное становится чужим, бледным, ненужным, будто что-то рвется во мне, та прежняя веревочка, что связывает с остальным миром. Остается только музыка, нездешняя, но не потаенная. Я вытаскиваю ее из

стройной безмерной бездны и тогда наполняюсь бесконечно щедрым и светлым счастьем.

Игры сверстников, таких же слепцов, музыкально одаренных детей, Натаниэля совсем не интересуют. Ничего нет. Ничего нет. Быть может, есть лишь мой светлый круг классной комнаты, словно отзывчивая оболочка, где с каждым приходом я все больше чувствую себя персональным пассажем, особым законченным фрагментом музыкального произведения, который настолько закругленно и завистливо завершен, что в него бессмысленно добавлять что-то иное.

Впрочем, Натаниэль удивительно увлечен математикой, которая проникновенно продвигается как параллельная прямая по отношению к музыке. Строгая постоянная последовательность чеканных чисел родственна четкому музыкальному ритму и кристально ясному порядку нот в первоклассной симфонии, в которой невозможно убрать последующую ноту, не испортив общий гармоничный строй, и эта неизменность придает тебе, Натаниэль (о да, я согласен!), счастливую слитность твоего существа.

Он не переносит влажное ненастье и всегда в дождливые джазовые дни, даже в мокрые мелизмы приезда мамы, сидит обдуманно один, без единственной прогулки, в небольшой комнате с карамельным любимым огнем в камине. И наивно слушает басовые глухие удары падающего крупного угля, и трогательно трогает клавиши фантазийного фортепиано, и искусно и изворотливо играет сложно страдальческие пав-

линии полифонии Баха.

Дождь разрушает меня, и если я вдруг выйду на улицу, то даже изморось убийственно уничтожит мое единовременное единство, крупно и калено катясь валкой водой с мокрой головы на обожжённую от влаги шелковистую шею.

Так, переходя из комнаты для музыкальных занятий в класс математики, а затем, обезумев от желания вернуться обратно быстрой, как у его учителя, походкой, походя и мельком изучая остальные предметы, Натаниэль волнительно находит в этом замкнутом цикле свой потрясающий центр мира.

У меня такое чувство, что я разломан пополам: одна половинка – временная, темная и недоступная для других, и никто больше ей не принадлежит, и никто ей не нужен, а вторая моя часть с удивительной точностью сливается в безумном и полном полете музыкальных фантазий с воспламеняющим восторгом, который блаженно переполняет краешки души сияющей силой и выводит меня из квелога круга вязкого времени в мою собственную Е-мажорную великолепную вечность.

* * *

И в цветной восхитительной вечности Римма пребывает в школе для глухих с поздней весны 1908 года.

Учитель Риммы преподает правописание, прибегая к дак-

тильной речи. Последователь классиков, с быстрой белой бородкой, которая тихо качается в такт стихам, и, как его отец, бывший поэт, думающий о сильных эмоциях и побивший рекорд по количеству выпитых за две минуты бутылок шампанского, он дважды державно декламирует и смело и ярко, как молнию, педантично показывает каждую букву.

Любой символ для меня окончательно озаглавлен не только стремительным и как будто жарким жестом, но и совокупно сливается со светящимся цветом, который имеет собственные кровь и плоть. Буква «о» всегда отливает стальным оттенком и относится к реке, «и» переливается желтым и становится неизменно доброй улыбкой мамы, а «а» означает розовый и принадлежит моей кукле-утопленнику, фарфоровой и полый внутри голышки, которую мне нравится купать.

Я стою в чистой, опрятной светлой комнате, и всю лавину цветов, ранее увиденных в стихах, легко бросаю на мой первый маленький мольберт. Я еще не знаю рисунка и радостно выплескиваю краски на холст с беспечной беззаботностью.

– Так, так, продолжайте, – растроганно и широко улыбается учитель, по-птичьи склонив голову, доверчиво глядя на мой невинный, весело взбитый красками вымысел, и резвыми руками, которые то он убирает к себе, то вытягивает вперед, на другом холсте показывает суми-э, японскую разновидность живописи тушью.

И Римма продлевает увлекающее удовольствие. Ей нра-

вится в обворожительном одиночестве и в пепельном платье идти по узкой аллее рядом со школой, и безмолвно, с детской непринуждённостью пристально смотреть на быстро бегущий белый антик облаков, на палевые просветы между деревьями и изумрудную сеть жилок на первых листьях, а затем, боже правый, как весело и радостно словно бы передвигать подмеченный пейзаж и размеренно размещать его на новом холсте.

И когда, будто в дыму, затуманивается солнце и тусклый день собирается уйти за кулисы, она лежит на кровати, смутно грезя и не засыпая в странном сомнамбулическом состоянии, которое досталось ей от отца-лунатика. А потом открывает окно, и порывисто ласкает ее лицо встречный ветер, и сеет железный дождь, и стойко пахнет озябшей весенней влагой, и она забирает в рисунок бледно-желтую единственную звезду.

Но так происходит не каждый день.

Знаю, что не могу так жить. В непрестанном напряжении кольцообразной светло-ночной вечности. Слабая спина не позволяет долго стоять у мольберта, а полая стопа предательски мешает бродить по аллее.

И еще что-то твердо и настойчиво внезапно вырывает меня из яркого, красочного, блистающего мира. Похожий на снежный стеклянный шар с перламутровым переливающимся узором, он осколочно крошится после пагубного падения от случайного сбившего его повседневного времени.

Еще до появления фотоателье у моего отца была часовая мастерская, где на стенах покоилось бессчётное количество разнообразных часов в золотых, дубовых, серебряных и стальных корпусах, молчаливых или с боем минут и четвертей, и все они показывали одинаковое время.

Я долго сижу на одиноком стульчике и замороженно слежу за ходом дня. Зрачки моих больших глаз следуют за минутной стрелкой. Десять минут, полчаса, час. И я мило разглаживаю по бокам свои черные волосы с косым пробором, и встаю, и иду, и нежно, и приветливо прижимаюсь к отцу.

Отец целует мой прямой нос, смотрит в мои светло-серые, чуть навывкате глаза, жадно берет мой указательный палец и молниеносно передвигает им секундную стрелку на сломанном круглом циферблате. И весело, играя, расправляет мою прическу так, чтобы не осталось пробора, а была смешная сплошная копна волос.

Слепая стрелка, которую передвигает отец, живет теперь отдельно, как огненный меч, разрезая пополам жизнь Риммы.

В редкие минуты время теряет власть, и перед взором Риммы вновь выплывает мольберт, и на нем появляется темно-аспидная туча, которая бросает несколько капель дождевого серебра на невысокую плотную девушку в мирабелевой шляпке с пронзительными широко распахнутыми голубыми глазами на проказливом выражении лица, с жемчужным ожерельем и с бриллиантовой диадемой в волосах.

Но буднично она с наслаждением читает исторические книги, и с фотографической точностью понимает спайку поколений, и история придает тебе, Римма (о да, я согласна), постоянную протяжённость во времени. Увлекательным ореолом для нее окутаны вечерние разговоры отца с неопрытными незнакомцами о тайных революционных обществах, суть которых папа передает мне жестами, и как сильно, до нервной боли во всех мышцах, хочется, чтобы в школах отменили ее ненавистный Закон Божий.

Римма обворожительно обожает воду. В летний свободный день она безоблачно лежит на прибрежной полосе неслышного, малодушного моря, наполненного медными отблесками медового заката.

Она перемешивает перламутровый песок с радужными ракушками и настойчиво принимает в себя мелкие, медленные накатывающиеся волны, которые сначала стараются то-мно тянуть ее ноги и чутко целуют их своим цинковым цветом; под приливом вакханальной волны упрямое море окончательно обретает ее бронзовые бедра, желанно заходит на девичий жаркий живот, полностью перемещается на ее неокрепшую грудь, и Римма пружинисто погружается в неистовую неизвестность, в пучину долгого взрывного потока, пальмовидного настолько, что ее мелко и непроизвольно трясет.

Вскоре временной разлив уносит меня еще дальше, когда мама, после моего одичалого отдыха, остолбенело общитель-

ного с морской водой, просит меня принять вечернюю ванну в моем как будто малом море, и умеренно улыбается, ставя то здесь, то там короткие соломенные свечи, и сосредоточенно совершает надо мной какие-то странные пасы раздельными руками, показывая мне жестами странную фразу «человек – это кукла».

Глава 3

«Кстати, в эти годы изобрели электрический телескоп, названный телевидением». – Историк Н. запивает буженину сладким вином, отклоняя в сторону чуть мокрую от мелочи дождя лысину головы, случайно делая вид, что как бы ненароком уже в серые сумерки пропустил вопрос писателя А., от чего последний впал в окончательное недоумение, в какое опустился его знакомый поэт, знаток мировой литературы, когда узнал, что его рекорд по скорочтению в 160 000 слов в минуту был побит молодой киевлянкой.

Глава 4

«Потоп! Всем выходить на улицу!» – так кричат в бедном доме, который вечно качается то в светлую, то в темную сторону, а теперь как будто кабально катится вниз с невысокого хрупкого холма города Каинска в разливающуюся реку.

Янхель высоко вскакивает на постели от сдавливающего виски вопля и катится вместе с утопленником-домом под наплывом речной воды в ревущую тьму, пытаясь в ночной неразберихе встать и нащупать вещи, и одеться, и выбежать, но истошные крики в сырой подвальной темноте, где теснится моя семья, и мечущиеся во мраке танцы теней, словно хоровод призраков, делают меня бессильным.

С болезненным головокружением я падаю в судороги удушьяющей бездны плачущего паводка, который ураганно уносит меня упругой ливневой стеной.

Брат! Еще несколько секунд, и я бы сошел с ума, захлебнувшись грязной рекой. Мой старший брат! Ты меня спас, когда я ухватился за твою пятку и сумел выплыть. Но до сих пор оглушительным эхом в дали рассудка я слышу дребезжавший стон воды в нашем мокром подвале.

Его отец, ссыльный за воровство из южных регионов, работает на севере стекольщиком и создает оконные рамы, в которых отражается далекий двойник Янхеля, худого семилетнего мальчика-еврея с низкими бровями, широкими ску-

лами и черными бусинками раскосых глаз.

Мальчик плотно помещается в бледный полумрак подвала 1885 года перед смуглой серебряной иконой, и березовая лучина на старом столе, вырезая во тьме конус слабого света, освещает в стеклах отца смутное отражение Янхеля с потрепанной Библией в игрушечных детских руках, книгой, которая уже сто лет передается в его еврейской семье и досталась мне от строгого деда-раввина вместе со смешанным густым ароматом сильного махрового старческого пота и терпких древних свечей.

Мир словно парит в молитвенном спокойствии, и отраженному двойнику Янхеля кажется, что вот я, озаренный и бесхитростный, что для меня все еще впереди, там, за дымчатой россыпью мерцающих за окном звезд, что рай с небывалым солнцем всегда простерт на золоте близких полей, а вокруг высоко вьются искусно созданные, как бы ажурные ангелы, и все бесконечно светло, и все бессмертны, и я спасен.

Но покой неустойчиво зыбок, потому что взрослый Янхель в большей мере ценит не содержание столетней книги, а ее незыблемое существование, тягуче протяженное во времени, поскольку слова моего папы «к тебе – от деда, а ему – от отца» воспринимаются мной, может быть, с юношеской созерцательностью, но серьезно и неотвратимо означают неизмеримо сгибать время вперед, в одну сплошную горизонтальную линию.

Как же мне, Янхелю, ненасытно хочется исторгать историю, изогнуто выломать себя в далекую, манящую точку времени! Где не будет махрового прошлого, а всех ждет новая ставка: пока смутный мираж или прежний смертный мир.

А потому возникает слово, и слово о рае. И слово струится от Янхеля, утратившего двойника (но был ли он, папа?) в отцовских стеклах:

– Папа, почему Бог не может принести рай на землю, и вот сейчас, сейчас, сейчас?

И мрачно молчит отец, угрюмо уткнувшись в мглистое трактирное окно. И с внешней стороны скользящей оконной выемки входит Чужой Человек, и бегло отражается в зеркале, и отбрасывает трепет тени на некрашенный деревянный пол.

И, услышав вопрос восемнадцатилетнего Янхеля, говорит:

– Знаю я одного демона, который утверждал, будто исцеляет он немощных, но лишь тех исцелял, на кого сам же он порчу и навел. А так как не знают люди истины, не избежать им было обмана от ложного бога. Обманывает ложный бог вот какую хитростью: насылает на человека немощи, страдания, а потом врачует, не исцеляя, а лишь порчу прервав. А поскольку вредить прекращает, кажется, будто и впрямь исцелил. Отринь этого ложного бога, набивающего людей болезнями, и будет рай на земле.

И наступает Посторонний Человек на свою тень, и при-

ближается к Янхелю, и дает ему книжицу, и говорит: «Здесь все написано. Просвети народ – раздай книги».

И уверовал Янхель и побежал к старшему брату, сказав ему: «Не отпустит меня отец, ибо я младший, меняю книжицу на свое первородство быть старшим».

И согласился его брат, не почуяв обман, и пошел Янхель по пятам Чужого Человека, и выбежал на площадь, и вскричал: «Истинно говорю вам, ибо писано верно!» И каждому отдал книгу.

И говорил ему Чужой Человек:

– Завтра в час дня собираются наши жрецы. Появлюсь там и я, чтоб на дело это дивное поглядеть.

И явились в бессчетном числе жители города посмотреть на дивное дело. И пришли жрецы, и встали в круг, и было их двенадцать, и был Янхель в центре, потомок коэнов, принимавших кровь жертвенных животных. И отделились от них четверо, и осталось их восемь.

И эти восемь расчленили мальчика ножами, и возливали кровь малыша на жертвенник, и сжигали его кости.

И увидели люди отрезанную голову малютки. И отпряли.

Но удержал их Чужой Человек, и сказал им, показывая на портреты короля той страны:

– Вот кого вы богом считали! И вот кто виновен в смерти младенца! Это творится в его стране!

И были все пришедшие поражены страхом и трепетом, и все до одного уверовали и вскричали королю: «Изыди из ку-

мира этого! Изыди!»

Когда же увидели приспешники короля, что Янхель держит в руках маузер и нож, схватили и связали его путами и ранили его в бедро.

И истязали его, и мучили его, и спрашивал его начальник Романов:

– Зачем раздавал книги и отрезал голову у младенца?

Отвечал Янхель, сияя как солнце:

– Сокрушу я бога твоего, пытающего человека несправедливостями. И истинно говорю: тогда наступит рай на земле! Всем и каждому.

И сказал так и умолк.

И вышел Янхель из тюрьмы, ибо спорна была вина его, и пришел он к Чужому Человеку, и нагрозили Янхеля золотом, серебром, коврами и самоцветами за дела его.

И на эти деньги завел он лавку, и торговал. И звал народ в дом Чужого Человека, и проповедовал вместе с другими жрецами о смерти старого бога.

И вскоре снова пришел к нему Чужой Человек, и молвил:

– Смени имя, и стань Яковом, Яковом Юровским, и женись на замужней женщине Марии. И твой рай на земле будет почти исполнен.

* * *

И он встал, тот радужный райский день с причудливыми

переливами неба после дневного дождя.

Город украшен зеленью сибирской пихты и вензелями его императорского высочества, а частные дома сияют свежими фасадами.

Папа! Я помню, как впервые увидел цесаревича в 1891 году, когда он приехал в наш город. Мне было 13 лет, а ему, кажется, 23 года. И я, маленький Янхель, издалека и с жадностью (о да, я согласен!) смотрю в глаза наследнику престола и мечтаю ему сказать так сильно, чтобы мой голос исходил с небес. Но я не смог выговорить ни слова о справедливом рае на земле. И только вижу удивленный вопрошающий взгляд будущего царя.

Почему судорога бездны прежнего потопа навсегда закрывает мое сердце и я качусь вместе с домом и рекой и не могу говорить с цесаревичем? Почему наводнение забирает меня с детства в свои жёстко-тугие и мокрые объятия и помещает меня в палый подвал, откуда я не могу выбраться, и я все время смотрю вниз, откуда набегает полноводная река, забирая наш дом-утопленник?

И нет ответа в настоящем Якову, бывшему Янхелю, двойному человеку, случайному убийце, сыну ссыльного вора и тоже неизбежному предприимчивому похитителю, позже укравшему супругу у каторжника, а теперь поменявшему незыблемую веру в небесный рай раввина-деда на позолоченную поступь в земной благодати, и Янхель-Яков по-прежнему кабально катится вниз вместе со своим свет-

ло-темным домом в ревущую реку.

Но тогда, в трудной и табачной толпе 1891 года, звонко шумящей по случаю официального прибытия наследника престола, в своей нераздробленной вечности подлинной веры, ослепительно, в загорававшихся очах ангелов, проскользнет силуэт шестилетнего Виктора, и ему одному тихо улыбнется цесаревич, Виктору, сыну гордого генерала, который в молодости побил рекорд по построению полка за тридцать секунд и который знает, что рай на земле невозможен. А теперь его отпрыск смотрит на цесаревича с гордостью, упоением и восторгом в волшебной развернутой аллее свежих пихт, и параллельно дивным деревьям бежит сияющий изгиб блуждающей спокойной реки.

И вот ваше царство, генерал и его сын, и все точно навсегда, моя любовь, и моя, и любовь, и неизменно навечно.

Глава 5

Еще в раннем возрасте Мария постигает неизъяснимую интимную вечность. Мария невероятно сильно любит детей, да так, что очаровательно обожает обнимать новорожденных, до бесконечной мелкой дрожи в каждом своем суставе, как будто младенцы служат ее многократным отражением в бесконечно протяженной комнате со множеством зеркал.

26 июня 1882 года, в свой седьмой год рождения, когда мама разрешает ей предаться любимому занятию – помогать с уходом за младшей полугодовалой сестрой, Мария любит лавинно растолкать и зажечь утреннюю тишину громкой солнечной вспышкой открывающегося окна и устремиться навстречу ослепительно яркому свежему свету, словно изнутри ее сущности мгновенно накатывает, а затем целиком проходит по всем артериям неизбывная нежность.

От природы плотная и сильная, она каждое утро легко поднимает слезливую сестренку и, целуя и быстро ее пеленая, превращает малышку в тугой прочный кокон из длинных тканей. И в зеркале отражаются красивые темные ровные брови Марии и ее большие веселые лучистые глаза, которые родители называют «машкины блюдца» и которые кажутся то черными, то темно-синими от внезапного наплыва солнечного света, подобно удивительному изменению цвета в ткани шанжан или в камнях-хамелеонах.

А дальше, когда ненадолго сестра уснет, я с поражающей, роскошной ясностью вижу, как из потолка санитарно светлой комнаты спускаются мои самодельные куклы, которые я создаю каждый день. Вот скромно плывет девушка в нашем национальном еврейском наряде: в прямой юбке с кружевным воротом и с пышными рукавами, которые собраны у плеча и постепенно сужаются, а на запястье застёгиваются на пуговицу.

Вокруг взмываются дневные звуки будничной жизни, и мама с папой потаенно произносят молитвы в нашем скромном еврейском доме, а за плотными занавесками моей крошечной кровати я тихо и радостно мастерю новых кукол из старых лоскутков неподдающейся, но терпеливой ткани, разноцветных натужных ниток и еще простых дефектных деревяшек, найденных бог знает где, и обхожусь без прорисовки отдельных лиц.

И в этом дивном и уединенном уюте цепенеет время, и Мария с упоением наслаждается звучанием внутреннего восторга, когда готов новый кукольный экземпляр. Посмотрите на ту женщину в одежде тёмных оттенков с розовым передником!

В такие минуты лицо Марии горит только ей известным самобытным счастьем, она открыто и громко улыбается и ярко и свежо смеется.

Не сильно успевающая в учебе, Мария любит подвижные игры. И берет свои куклы, и идет на улицу, и выносит их

подругам, и все вместе они резво кружатся по соседнему лесу, играя в прятки, пестрые от света и тени, и каждая девочка укрывается со своей куклой за дружественным деревом. И отзывчивая, нежно-мягкая Мария всегда признает победу подруг даже не в свою очевидную пользу.

Мама, я хочу отдавать свою любовь. Наполнить ею все души на земле одинаковыми долями, мама, я так сильно этого желаю! И знаешь, чтобы быть всегда простой, равной со всеми, словно мы сестры и братья. Это так хорошо, и чудно, и ясно.

Обагрят лицо горящий вечерний очаг, и вся еще восторженно огненная после дневных утех, с ярким румянцем на открытом лице, Мария наслаждается переливчатым блеском огня.

Проникая сквозь топкие толщи детских дней, я печально понимаю, что в этом как будто вечном и шикарном круге заботы о людях и куклах есть что-то неокончательное и незавершенное, подобное несмелой тени, которая по-кошачьи крадется в светлую комнату, но пугливо не переступает прочный порог.

Папа, с самого детства в странном наваждении моих снов я вижу, как оживают мои тряпично-деревянные куклы и начинают двигаться в полумраке длинного коридора, словно в замедленной съемке, гуськом, друг за дружкой, не оборачиваясь. И мне мерещится, что я одна из них и над нами странно висит и будто медленно плывет кукловод.

Он держит нас ровным строем и ведет всю процессию в тусклую комнату, где расставляет вдоль белой стены, подобно режиссеру в театре. Кукловод кричит и заставляет нас повернуться к нему лицом. И я просыпаюсь в ежедневном тошнотворном кошмаре, и грудь жутко корчится от нестерпимой колющей боли. И я успокаиваюсь только когда приходит свет. И я снова могу верно быть с сестрой и куклами.

Папа, откуда это видение во сне?

Нет ответа Марии.

И затихли детские годы, и взошли взрослые времена. И вот уже кто-то с раскосыми темными глазами над раскидистыми широкими скулами порывисто укрывает Марию бесполезным зонтом под темно-пурпурным небом и вихревым ветром, который нагло несет, а потом бешено сметает бесконечные сабельные струи диагонального дождя. Своенравное серебро воды катится все ниже и ниже, раз-два, по ступеням мостовой, и еще раз-два-три, к суматошно разболтанной и разливной реке, пока двое затевают короткий редкий разговор.

– Хочу большую семью, трижды по пять внуков да к ним рота правнуков.

– Яков, я замужем. Его осудили, он в тюрьме, но все равно он мой муж. Это грех, если ты возьмешь меня.

– Мария, грех – только для церковников, а в жизни никто не стоит между мной и тобой.

Яков Юровский словно расплывается на фоне дождевой

стены в ее больших по-детски доверчивых черных глазах, которые иногда отливают темно-синим от внезапных всполохов грозового неба. Мария встревоженно кладет дрожащую, огненную от волнения руку в крепкую мокрую ладонь Якова, и он остужает ее, и соблазняет ее речами, и ведет ее в дом Чужого Человека.

И там, в этом простом, накренившемся набок доме Марии так славно и глубоко мнится, что тайное закрытое общество, где Яков обольщает ее словами вместе с другими жрецами, сродни ее колдовскому замкнутому миру с крохотной кроватью, где она еще ребенком кропила куклы, а речи Якова о новой райской жизни после революции ладно ложатся в самую сердцевину ее с детства потаенного, но сейчас жаловидного желания быть равной со всеми.

– Я буду долго работать, мы будем богаты, и ты станешь моей.

И он алчно действует, и захлеб собирает деньги для жрецов, настойчиво нападая на почтовые кареты, которые перевозят деньги местных банков, и оставляет себе лучшую долю.

В 1904 году Мария, бывшая жена каторжного, изменившая прежнему супругу, выходит замуж за Якова Юровского. И ее огонь остывает, и глаза Марии окончательно обретают беспримерно черный цвет. И они спаянно несутся в совокупном плотном потоке времени в вящую даль, дети еврейских строгих семей, которые когда-то были надвое расколо-

ты, однако сейчас живут только с одной своей внутренней половинкой.

Немного времени спустя они заводят частную часовую мастерскую, где, вырванные из вечности, почти достигают своего царствия и воспитывают дочь Римму.

* * *

И Яков с Марией, уже будучи безраздельной плотью, продолжают проповедовать.

И вступили они в городской театр, где несли портреты Голя и Маркса, и воззвал громко Яков:

– Вот что говорил пославший меня, нашептывая во время пыток короля: «Ваше время настало. Очищены все вы от болезней ваших, и очищен храм сей от всякой нечисти, и бежит от вас всякое зло».

И тотчас обретали люди покой и шли за Яковым, ибо поверили в святость жертвы больше, чем символам прежней власти. И, поднявшись, приходили в новые местности и проповедовали:

– Как всякий победивший тирана посылает ближних своих, чтоб повсеместно, где тиран властвовал, утвердили мы новое время пославшего нас, нового победителя и триумфатора, так и сей человек, Яков, подгоняющий время вперед, послал нас во все города, дабы изгоняли мы слуг дьявола в статуях храмовых обитающих, а людей, кои им поклоняют-

ся, из-под ига деспота побежденного выводили.

Мария слышит голос Якова, и верит ему, и клянется ему. И теперь уже сама проповедует.

Когда Яков и Мария возвращаются в скромную маревую мастерскую, они заводят все часы на одно время, чтобы у Риммы в точный ночной час вырвался глухой стон от безнадежной попытки поймать беглую сновиденческую тень.

Глава 6

«Кстати, в эти годы изобрели кинематограф». – Буженина закончилась в старом саду, и историк Н. опрокидывает последнюю холостую рюмку холодного белого вина под взглядом спелого ежевичного неба, которое снизошло с живописного холста.

Писатель А. мерзло смотрит на свои продрогшие руки и постепенно двигается по внешней окружности невыразимой тайны рассказа брата-историка к его пока еще загадочному центру.

Но до сих пор у А. такое чувство, что он идет как будто по длинному коридору и его квартира расположена в правой части дома, а он сворачивает в левую сторону, а затем ему нужно подняться на второй этаж, и он совершает спасительные шаткие шаги вверх, но лестница глубоко теряется и темно спускается исключительно вниз.

Часть 2. Только одна «в». Вечность

Глава 1

Она, чуть полная низкорослая девушка в светло-фиолетовом платье, плотном пальто и золотисто-желтой мирабелевой шляпке, сжато и смятенно стоит на случайном каменном мосту, который тянется через берлинский Ландвер-канал в 1920 году, и слезно и скороспело, смотрит вниз, на мелкие ступеньки спокойной речной волны.

Девушка не видит монументальных пилонов ворот, пятиметровых статуй королевской четы и косо-овальных лип. Она смотрит долу и держит себя в привычном отстраненном одиночестве. И меня не волнуют безгласные души продрогших прохожих, которые задевают мое тело бесконечными плавными пике плечами.

Открывая солипсическое сознание от легкой лестницы волны, она поднимает голову и чувствует, как февральский ветер раскидывает ее длинные волосы, слепо вымывая последние скрытые слезы.

Тяжелые торфяные облака добавляют ее лицу палой печали, а темно-серая речная вода наполняет каждый ее влажный вздох протяжной мрачной и безвестной болью.

Она прислушивается к себя вдумчивым взглядом и напря-

женно и усиленно мельтешит одну одной и ту той же мыслью, будто пытаюсь что-то вспомнить, неуверенно поднося руку к ледяной набухшей венке на левом натужном виске.

Возможно, мне станет легче, когда я перестану заглядывать в глаза настоящего и не буду думать о том, что никого из семьи уже давно нет рядом.

Безнадежно и тоскливо трепещет бегущий ветер в ответ.

Стоит ли мне открыться? Или жить как будто в постоянном театральном представлении, скрывая свое имя, и быть всегда другой?

Я с ранних лет любила извивистые игры в прятки и домашний театр, но детство детонировалось, но почему теперь снова как будто меня две?

Ответы: Знаю. Не уверена. Не понимаю.

Домашние оценки: Отлично. Достаточно. Слабые успехи.

Вывод: запуталась, думаем дальше.

Не оттого ли, что я, уже взрослая, изучила все искусства? В каждом не существует одной полновесной исключительной истины, которая разноречиво разбегается в тени на разных длинных дорожках.

Ответы: Нет. Да. Нет.

Домашние оценки: Посредственно.

Вывод: не совсем точно, еще немного подумай.

Закрывая глаза от отчаянного нестерпимого непонимания, вздрагивая от глубокой головной боли, она роняет вопрошающий взгляд серо-голубых глаз в илистую глубину ре-

ки (может, сейчас сделать выбор?), которая становится грязно-желтой от волшебного блеснувшего солнца и через минуту мимолетно падает навстречу своему бледному речному отражению.

– Мадам, вам повезло. Случайный полицейский вытащил вас из реки и привез в наш участок. – Напротив нее, по-прежнему мелко дрожавшей от речного холода, располагается молодой лейтенант полиции, шатен со светло-зелеными глазами, в дорогом костюме, жемчужном жилете, с гранатовым галстуком и персиковым перстнем. – С какой целью вы прибыли в Берлин?

– Чтобы разыскать мою тетю. – Она еще ощущает в себе огарочные останки обморочного состояния и ту беспредельную темную глубину, которая пыталась отнять ее у жизни, и оттого отвечает не сразу, с напряженным надрывом и прерывистым тяжелым дыханием – Но... – Она наконец решает уйти из театра жизни. – Во дворце никто не узнал меня... Когда я рассказала о своем внебрачном ребенке, меня попросили уйти.

– Дворец? – Следователь удивленно встает с тугого дивана и, прогоняя вечернюю дремоту, выпивает стакан воды.

– Во дворце моей тети, Ирэны Гессенской. Я – Анастасия Романова, дочь Николая II. – Она смотрит на него острыми широко распахнутыми серо-голубыми глазами.

И, поправляя сиреневое платье, она отворачивает от следователя свое правильное округлое лицо со светло-русыми

волосами и вежливо просит открыть пыльное дымчатое окно.

* * *

Окна распахнуты в узком кабинете берлинского полицейского участка, куда вчера доставили девушку-самоубийцу.

Женщина и мужчина сидят, и встают, и ходят, и поминутно, раз-раз-раз, разговаривают друг с другом.

– Тому два года, как немецкие военнопленные говорили, что в России видели листовки с текстами о розыске дочери императора Николая II, Анастасии Романовой. Вы известный бельгийский художник, и сегодня вы здесь, на вашей великолепной выставке. А поскольку вы видите все цвета мира, вы определите по фотографии ее схожесть с подлинником, тем самым поможете нам понять, как Анастасия, если это она, могла оказаться в Германии. – Все тот же молодой следователь в жемчужном жилете поправляет свой гранатовый галстук и вращает на указательном пальце персиковый перстень.

– Дайте мне время подумать. – Евгения чуть горделиво смотрит вверх, поправляя сиреневое платье.

В задумчивом сомнении Евгения нервно и мятежно мечется от кожаного дряблого диванчика к настежь открытому окну.

Всегда болит спина, когда я, Евгения, часами тружусь и

сiju, сiju перед мольбертом, и родители до сих пор заставляют носить корсет, но теперь он не помогает. И, боже, как сильно хочется спать!

Но, пробивая вечернюю вуаль красок и возвращаясь к будничному времени, у меня такое чувство, как будто мы здесь уже сутки, еще с того вечера, как поймали девушку. Почему так долго?

Евгения, снова устало присев на диван, впопыхах погружается в нечаянное дремотное состояние.

В призрачной ткани ее полузамкнутого взора впервые в жизни Евгении выплывают сценические подмостки, на которых зарождается и растет до пятиметрового состояния сломанная стрелка часов, передвинутая вышедшим из-за кулис худым миллионометровым мужчиной, словно ее колоссальным указательным пальцем, на крупном круглом циферблате.

А после, как будто из другой коробочки жизни, на подмостках проступают мучающиеся, вертлявые тени. Исполинский мужчина охапкой сгребает теневые фигуры и толпой усаживает их в крепко сколоченный дом, который выдвигается из задника сцены. Наиболее отчетливо я вижу один из силуэтов: девушка падает навзничь, и стонет, и ползет, и пытается встать и выбраться из дома.

Чуть позже, в продолжении робкого, но стального сна, ей чудятся мелькнувшие картины, написанные маслом, и она вспоминает, как потаенно получила дар видеть все краски

мира.

От чужого, неведомого ей сновидения Евгении становится жутко, и она нетерпеливо ноет и непредвиденно вскрикивает.

А! Простите, устала после открытия выставки и ненадолго уснула.

Следователь настороженно стоит в оконном прямоугольнике и энергично оборачивается на ее спалзимирующий кошкин крик и кичливо успокаивает ее; но позже робко кладет застенчивую ладонь на мнительную голову Евгении, всю надрывную и как будто исколотую скрытыми, неуловимыми шипами, и нерешительно обнимает художницу за пологие пугливые плечи.

А когда она загадочно затихает, вся уже здешняя и мирская, полицейский прилежно пишет свои заметки в старом бежевом блокноте, который еще принадлежал его отцу, известному детективу, раскрывшему двести уголовных дел за такое же количество часов.

– Что она помнит после падения в реку? – Еще с трудом, но уже спокойная Евгения произносит свои слова. И встает, и мелькнет в ране полицейского окна, и наблюдает, как розовый цвет теплого февральского вечера переходит в ярко-красный и затем, теряя солнце, смыкается с серыми тучами.

– Упоминает сиреневую царскую гостиную, где принимали гостей, розовое платье и розовый венок, в которых вы-

ступала в любительском домашнем театре, и свою пушистую собаку Джими. Мы установили: так было. А из последнего... Повторяет, что каждую ночь слышит летящий ей навстречу крик, который как бы приглашает ее.

– Я постараюсь вам помочь.

Полицейский держит фотографии в двух руках, словно собрал половину колоды в карточной игре, и просторно, подобно вееру, показывает мне снимки. Но я не говорю не единого слова, а круто встаю, будто что-то сильно взрывается во мне.

Перед мною широко и жестко распахивают железную, всю в изъянах, дверь тюремной камеры, я вхожу в зыбкое затишье, где роковым бледным сиянием пульсируют неизбежные лампы, и сажусь напротив бывшей утопленницы, и мне представляется, что мой полусон еще не уходит, не смыкает свои вечные веки, а ширится и растет.

– Знакомьтесь, Анастасия Романова, как она себя называет. Как вы думаете, похожа? – полицейский обращается к Евгении.

Я смотрю в ее серо-голубые глаза с липким любопытством, и сквозь сгущавшуюся волнистую мглу, властно околдованная то ли здешним сновидением наяву, то ли странной реальностью живого нетленного бытия Анастасии, я вижу молочную белизну живого, подвижного, проказливого круглого лица Анастасии, но как будто воспринимаю его в двойном состоянии, ее лик двоится, и в моих глазах рябит от

скрешивающейся пестроты.

И в диковинной неотступной дрожи своего, как будто во внутренних ощущениях, нелепого, несуразного тела, в острой лобной боли в гулкой голове Евгения различает мелькание иной жизни в ставшей белесо-мертвенной маске бесчувственного лица Анастасии. Теперь я пронзительно ясно понимаю точное сродство и основательно осознаю гибельную, но великую смелость ее шага и стойкую выдержку моего поступка.

И мне хочется навсегда уйти от этого двойного кошмара и спрятаться только одной со светом, пропущенным сквозь дымчатое стекло. Где я, Евгения, и кто я посредине пустынной планеты?

И нет ответа Евгении.

А на следующее утро с ярким солнцем, свет от которого шахматами ложится вместе с тенью вокруг полицейского участка, все еще тот немецкий лейтенант испытывает странное сосущее чувство в сердце, и откровенно ощущает, что время точно простудилось и слегло в кровать с высокой температурой, а он покрывается какой-то жуткой терпкой испариной.

И, заходя в камеру, весь-через-время-перешедший, в небывалом клейком жару, он ловит остекленевшими глазами на месте той загадочной утопленницы только округлые формы Евгении, застывшие, занемевшие, без признаков ее воли, пшеничные волосы, да большие светло-синие глаза, кисель-

но размазанные от слез, со вспухнутой краснотой на белках.

Детектив поднимает изумлённые очи горе и, подгоняемый саблевидным страхом, молниеносно бежит к другим полицейским.

А потом вместе они несутся в камеру по обратной дороге и строчат воспоминания Евгении о том, как в царской семье она, не Евгения, а теперь Анастасия Романова, разводила шелковичных червей вместе с сестрами.

– И я совсем ясно вижу светлого парня Сережу, племянника истопника, который помогает седлать милых пони во время наших прогулок, и могу показать точное расположение комнаты первой нянюшки, которая находилась рядом с моими покоями. – Евгения на секунду останавливается. – Интересно, не правда ли? Нас двое, кто из нас реален? Крик придет, – так странно говорит Евгения, пока берлинские детективы схватывают как будто ту же самую Анастасию, но теперь чуть другую, в которую добавились повзрослевшие округлые щеки Евгении, и недоуменно записывают обезумевший отчет.

Глава 2

И, глядя в свои записи, так восклицает учитель рисования в художественной школе Риммы, куда она поступила в 1918 году, а вместе с ней перекочевал ее прежний школьный педагог: «Через несколько дней будет проводиться международный конкурс юных художников! Победителем станет тот, кто может создать лучший набросок фрески о воскресении Христа».

Учитель делает паузу, а потом продолжает:

«К нам обратились два известных художника. По заказу одной церкви вот уже несколько недель они рисуют эскиз фрески воскресения Христа, но он совершенно не выходит. У нас есть возможность помочь и в то же время дать вам шанс увидеть свою славу». – Учитель влажно растирает сильные собственные ладони, как делал его прадед, ныне забытый, но прекрасный портретист, который мог мощно массировать массивные кисти рук перед тем, как начать жонглировать пятью квелыми кисточками в левой руке и одновременно правой штриховать неистовые ноги быстрой балерины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.